

ПЕРО



ЦИКЛ В ПЯТИ КНИГАХ

КНИГА ВТОРАЯ

ЧЕРНИЛА И ПОРОХ

Мирсардор Тулаганов

Мирсардор Тулаганов

Перо. Книга 2. Чернила и порох

«Автор»

2026

Тулаганов М. А.

Перо. Книга 2. Чернила и порох / М. А. Тулаганов — «Автор»,
2026

Прощение стоит грошик, а стоять может жизни. Мара Верл пишет за неграмотных: вдовам, должникам по деду, тем, кого не внесли в книгу и потому не вынут из воды. Она верит, что перо можно перенять – переписать Свод изнутри, строка за строкой, пока власть не станет отвечать перед теми, кем правит. Дарн Ворн, обожжённый торфом, верит в другое: перо не отдают, его берут. Между их спором – Гнилые Слободы на плотях, Чернильный Двор на сухом холме и река, которая каждую весну считает по-своему. А по слободам уже идёт слух о третьем – о том, кому не нужно ни чужое кресло, ни чужое перо, потому что он идёт сжечь само место, где пишут. Вторая книга цикла «Перо» – о цене одной строки и о двоих, что хотят одного и не могут идти вместе.

© Тулаганов М. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. Прощение за грошик	5
Глава вторая. Корка у Хеммарских ворот	11
Глава третья. Обожжённое лицо	13
Глава четвёртая. Свет в сушильне	20
Глава пятая. Гнилой мост: свидетели	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Мирсардор Тулаганов

Перо. Книга 2. Чернила и порох

Глава первая. Прошение за грошик

Вода уходила третий день. Слобода вылезала из-под неё, как утопленник: сперва спина, потом плечи, потом то, чему лучше бы остаться на дне.

Мара Верл узнавала спад по запаху раньше, чем по отметине на свае. Пока держалось половодье, низ пах лишь мокрым деревом и холодом. Но стоило воде опасть по локтю в день, оголив сваи до старой слизи, как подымался дух тины, кислого ила, разбухших досок — всего, что люди зимой бросали в воду, веря, будто она уносит. Вода ничего не уносила: подымала, опускала и возвращала хозяину обсохшим и узнанным.

Так и долги, думала Мара, расставляя на ящике струмент. Их не смывает, только подтапливает. По спаду они объявляются заново, уже с пеней.

Она пришла на торжок затемно: место следовало занять прежде других. Под выступом каменной кладки капель с карниза падала мимо стола в выбитую за годы лунку. Мара знала эту лунку, как собственный угол, и по ней отсчитывала утро, не глядя на небо: часто — рано; реже — солнце взялось за крыши; совсем редко — идут люди. Она расставила струмент по капели, чтобы рука успела согреться прежде первой просьбы.

Струмента было немного, но в нём была вся её кормёжка. Казённые чернила, купленные втридорога у конторщика при Чернильном Дворе: иные в прошении не примут, а как их отличают, знал один конторщик и тем кормился. Стальное перо в гранёной оправе, надломленное у кончика: через раз давало волос, через раз цепляло бумагу и брызгало. Наклон приходилось держать вернее ножа у горла. Перо до неё принадлежало кому-то другому. Кто его согнул, Мара помнила по лицу над своими детскими каракулями и по чужой руке, лёгшей поверх её руки, чтобы повести буквы. Костяная линейка, гладкая, пожелтевшая по краю, — без неё рука себе не верила. И стопка дешёвой рыхлой бумаги: та пила чернило жадно, тронешь пером — буква поплыла по волокну тёмными усами.

Уставным почерком по такой бумаге писать — что идти по болоту: всякая буква норовит уйти под себя. Держали её линейка да терпение. Бумаги у Мары было на восемь прошений, терпения — на всю слободу.

Пока она расставляла струмент, мимо прошёл водолив с коромыслом. Нижнюю, спадную воду не пили: ею мыли да тушили. Он остановился у ящика и опустил коромысло на здоровое плечо.

— По локтю в день роняет, — сказал он, кивнув туда, где за крышами стояла Ирмарека. — К Велимову дню оголится до самой нижней свайной строки. Тогда и старостову метку видно станет.

— Видно, — отозвалась Мара, не подымая глаз.

— А станет видно — пойдут к тебе. Кто метку оспорит, кто сваю. По спаду тяжб больше, чем по воде рыбы.

Он зачерпнул из ведра и подал ей — за так, по соседству. Вода была верховая, чистая, с привкусом жести. На дне ковш такой стоил грошик, дороже платы за прошение.

— Спаси тебя, — сказала она и вернула ковш.

Водолив подхватил коромысло и пошёл дальше, тонко выкликая воду. Крик ещё долго ходил меж рядов, пока Мара правила перо и ждала первого.

Первой над нею встала вдова. Мара не подняла глаз: в первый миг человека читать не надо. Пусть постоит, обвыкнется с тем, что нашёлся стол, где его беду переложат на бумагу

казённым складом, и беда станет как будто общей, уставной, подлежащей. Половина ремесла — принять прежде, чем написать. Мара отсчитала три капли в лунку и на третьей подняла перо.

— Сказывай, — молвила. — С чего тебе пеня?

— С мужа, — сказала вдова.

Голос был сухой: слёзы давно вышли с водой. Серое плоское лицо будто долго пролежало на дне. Руки вдова держала под платком, на животе, словно баюкала пустое место, куда уже не ляжет ничего тёплого и своего. Мара скользнула по ним взглядом один раз и больше туда не глядела. Иное прочтёшь, а вписать некуда: нет в Своде строки на то, чего не было.

— С мужа, а на мужа — с его отца. Отец-то брал: на сети, на лодку, когда соль ещё ходила. Помер отец — на мужа легло. Помер муж — на меня. А я лодки не видала. Сети ещё при отце сгнили, мужнин брат их из сарая выкинул — смердели.

— А пеня растёт, — сказала Мара.

Не вопрос. Пеня росла сама из себя, как плесень на сырой стене, пока было к чему прирасти.

— Растёт, — кивнула вдова. — За что? Я ж не брала.

За что. Мара слышала эти слова так часто, что они стали скрипом сваи под водой. Она макнула перо, обтёрла лишнее о пузырёк, примерилась линейкой и повела первую, всегда одинаковую строку.

«Покорнейше нижайше просит вписанная вдова такая-то о снятии наследуемой пени, насчитанной не на её строку...»

Рука шла ровно, с тем наклоном и нажимом, какому её научили те же, кому теперь писали. Уставный почерк был поклоном: чтобы наверху услышали, следовало писать их складом и буквой, будто сам Двор диктует себе просьбу. Перо то давало волос, то цепляло. На цепком месте Мара приподымала руку, обманывала надлом и тянула линию дальше.

— А имя мужнино как впишешь? — спросила вдруг вдова. — По отцу или по дворовой строке? У него в дворовой строке стоял Ронтень, а сам он Ронт звался, без «-еня». Писарь, как вписывал, лишнюю букву сунул.

Мара подняла глаза. Вот на чём ломались прошения: лишняя буква, разноречивой между живым именем и вписанным.

— По дворовой. Как вписан, так и пишем. Двор знает того, кого вписал, а не того, кто жил. Выведу Ронтень, а в скобке: «в обиходе Ронт», чтоб не сочли за двух и не насчитали дважды.

— А то насчитают? — испугалась вдова.

— Насчитают. Видала, как на одного две пени шли: в двух строках двумя именами стоял. Пока доказали, что один, третья набежала — за хлопоты.

Вдова примолкла. Мара вернулась к строке, вписала Ронтень и вывела в скобке «в обиходе Ронт» — мелким, тесным письмом, каким пишут оговорку важнее просьбы.

Через два ящика, под драным навесом, сидел краснослов Кавр Гелл. Промышлял он пером и языком, причём язык приносил больше.

— А ты, голубчик, не туда плачешься, — говорил он толстому от водянки старику так, чтобы слышала вся очередь. — Ты пеню кляни, да? А кто бумаги вовремя не выправил? Отец не выправил, ты не выправил, а Двор виноват?

— Так годы ж были, — бубнил старик. — Какие года-то...

— Годы у всех были, голубчик, общие. — Кавр развёл руками, чтоб видела очередь. — Двор как вода: низ топит, верх держит. Надо было сухим сесть, как люди садятся. Выправил бы вовремя — сидел бы в Досмаре да плевал вниз. А не выправил — терпи строку. Зато по совести: что брал, за то платишь, а кто не брал — пусть бумагой докажет. Бумага дешевле слёз. Слезой строки не смоешь, а грошик её подвинет.

Старик завздыхал, полез за пазуху, и Мара слышала, как там брякнуло: отсчитывал он не один грошик, а три.

Мара знала число наперёд. Кавр всегда брал три; за третий отработывал языком то, чего не давал бумагой, — веру, что дело двинулось.

— И гляди, голубчик, — говорил Кавр вслед старику, — как воду в горло Двору пустишь, так дома сиди и жди с лёгким сердцем. Сделано — забыто. Чего сделано не воротишь, того и не грызи.

Старик уходил распрямлённее, чем стоял. Кавр снял с него три грошика, а заодно тяжесть — последнее, что ещё принадлежало старику.

Мара головы не подняла. Кавра она давно умела не слышать, как осеннюю капель, долбящую в одно место. Но рука на миг стала, и линия набрякла чёрным; пришлось подскоблить букву ногтем, подождать, пока подсохнет, и повести заново, уже тоньше. Кавр не выдумывал нового зла. Он поворачивал к человеку то, что уже было, и говорил: сам виноват. Этому верили охотнее, чем правде. Вина оставляла хоть за что платить, тогда как пеня без вины всё равно росла.

Мара довела строку до низа листа, посыпала песком, подождала и сдула. Песок ссыпался в лунку; капля приняла его и пошла дальше мутной.

— Прочешь тебе? — спросила.

Вдова смотрела на буквы с надеждой и без узнавания, как на запертую дверь, за которой, говорят, тепло.

— Прочти, — сказала вдова и подалась вперёд.

Мара прочла ровно, казённым голосом, чтобы вдова услышала уже не её, а Двор, склонившийся к бумаге: про наследуемую пеню, сгнившие сети и покорнейшую нижайшую просьбу снять. Вышло складно, жалостно и без единой слезы; жалость была спрятана в уставной сухости, как нож в рукаве. Двор слёз не читал. Положи перед ним слезу — он спросит, к какой она строке. Двор читал строку.

— Так и снимут? — спросила вдова, и сухой голос её дрогнул.

— Подашь — рассмотрят, — сказала Мара.

Она всегда говорила «рассмотрят», не «снимут». В этом слове честное лежало рядом со лживым: бумагу и вправду развернут, пробегут глазом; будто от этого что-нибудь переменится.

— А скоро? — спросила вдова.

— Жди срока. Не раньше.

Вдова кивнула, будто срок был ответом. Отдала тёртый медный грошик, нагретый в кулаке. Мара опустила его в карман передника, где медь легла к меди без звона, затем свернула прошение, обернула серой бумажной лентой и подвязала ниткой.

И сама пошла с вдовой к приёмному двору, хотя обязана не была. Та боялась лотка; следовало показать, куда опустить бумагу, чтобы не сунула мимо и не отдала первому назвавшемуся принимающим. На спаде воды таких у лотков разводилось, как мокриц под сырой доской.

Торжок на спаде оживал раньше всего низа. В ряды выносили обсохшее и поднятое со дна. Одна торговка драила песком ржавые ножи и крючья; пальцы у неё побурели. Поднятое продавали как новое: кому вода вернула, тому и торговать.

У поворота к подворотне сидел старик-меняла; перед ним на тряпице лежали грошики стопками. К нему несли битые, гнутые, со стёртым ликом — таких глотка Двора не принимала. Труба бумагу засосёт, но наверху найдут ущербный грошик и откажут не за дело, а за монету. Меняла давал взамен гладкий, целый и брал полгрошика. За право подать просьбу сперва платили ему.

— Твой годен, — тихо сказала Мара вдове. — Тёртый, а лик цел. Будь гнутый — пришлось бы менять.

Второй грошик, на подачу, вдова ещё у ящика вынула из-под платка и вложила Маре в руку, не решаясь судить, годен ли. Теперь она смотрела на него в Мариных пальцах как на живого. Мара подсунула монету под нитку к свёрнутой бумаге — вместе им идти в глотку.

Приёмный двор Чернильного Двора в нижних слободах был каменным закутом. Подворотню за сотню лет выщербило до сходства с изгрызенной костью. Под нею стоял лоток, а в нём — медная глотка пневматической трубы. Раструб, начищенный тысячами ладоней, сиял; ниже, куда руки не доставали, медь темнела под зелёным налётом. Кто мог, клал в раструб капсулу, прочие — свёрнутую бумагу. Труба втягивала её с тихим всхлипом, словно набирала воздуха для слова, которого так и не говорила.

На каменной приступке сидел босой мальчишка-рассыльный, с сухой серой коростой на голенях — кожа его то мокла, то сохла. Он ждал, когда сверху спустят бумаги для слободы, и бренчал щепкой по бечеве между двух гвоздей в притолоке. Бечева отзывалась низкой, унылой нотой. Этот единственный звук мальчишке, видно, нравился: он тянул его снова и снова, слушая, как дрожь сходит на нет.

Перед лотком плечистый мужик в мокром кафтане спорил вслух, потому что больше спорить было не с кем.

— Подавал, — говорил он в медную глотку, и голос гудел под камнем. — В тот спад подавал. И в позапрошлый. Третий раз кладу. Третий, слышишь?

Труба молчала. Мальчишка провёл щепкой по бечеве — дзынь, и сошло на нет.

— Положь да иди, — сказал мальчишка, не глядя. — Она счёту не ведёт, сколько раз. Ей всё едино — первый, третий.

Мужик подержал над раструбом толстый свёрток — целую тяжбу, годами писанную разными перьями, — и сунул. Труба вздохнула, всхлипнула, приняла, как примет тощую бумажку вдовы: без разбора и веса. Мужик отёр рот рукавом и пошёл, ссутулясь под ношей, которой уже не нёс, но от которой плечи ещё не распрямились.

Мара подвела вдову к лотку.

— Сюда клади.

Вдова держала прошение обеими руками, будто боялась выпустить. Над лотком на сером камне стояли казённый знак и строка. Вдова прочесть её не могла; Мара могла и потому молчала: «Принятое к рассмотрению возврату и спросу не подлежит».

— Клади, — сказала ещё раз, мягче.

Вдова сунула бумагу в медный раструб, подержала пальцами за самый край и отпустила. Труба вздохнула, всхлипнула, приняла без звона и слова. Наверху прошение развернут, прочтут тем же уставным глазом, каким писала Мара, сверят с реестром и через сезон вернут отпиской. Её разнесёт по слободе этот босой мальчишка, сейчас тянущий на бечеве унылую ноту.

Вдова отняла руки и постояла, ожидая ответа из медной глотки. Труба молчала.

— Иди с богом, — сказала Мара. — Сезон жди.

Вдова ушла с опущенными плечами, но шаг её стал легче: тяжесть осталась в трубе. Мара знала это облегчение и не любила его. Горе хотя бы не притворялось помощью; труба всхлипывала так, будто слушала, и тем обманывала лучше человека.

Мара осталась у лотка и смотрела, как мальчишка бренчит щепкой.

— Чей ты? — спросила, не зная зачем.

Мальчишка вскинул на неё глаза — светлые, как у всех тут, выцветшие.

— Ничей, — сказал. И, подумав, добавил: — При трубе.

При трубе — не при матери, не при дворе. Ждёт, когда она отрыгнёт чужой отказ, и тем кормится. Мара кивнула.

— А читать умеешь? — спросила.

— По оттиску, — сказал мальчишка. — Квартал да проулок. Чей дом, куда нести. А больше и не надо.

— А в капсулу глядел когда?

Мальчишка глянул искоса — не доносчица ли, — и, видно, решил, что нет.

— Глядел, — сказал он тихо. — Раз вскрыл: думал, грошик внутри. А там бумага и буквы незнакомые. Ровные, да по складам не складываются. И не Двором писанные даже: поверх дворового знака чья-то кривая, торопкая рука приписала своё, мелко, будто капсулу по дороге переняли. Ту приписку я вовсе не одолел.

— Не Двором писанная, — повторила Мара. Значит, по трубам ходила и чужая рука, а глотка не разбирала, где дворовое, где подложенное.

— Они наверху своими пишут, — мальчишка пожал плечом. — А нам спускают, чтобы по складам гадали. Я капсулу обратно скрутил да понёс. Не моё дело знать, моё — донести.

— Покажи, — сказала Мара тихо. — Другую такую, если сыщется, с рукой поверх знака. Принеси — разберу тебе букву. И незнакомой научу, если захочешь.

Мальчишка долго её взвешивал, как худой грошик. Потом дёрнул бечеву. Дзынь — и сошло на нет.

— Может, и принесу, — сказал.

У медной глотки, ещё тёплой от вдовьей бумаги, Мара полезла в карман за пером — и не удержала. Оно стукнуло гранёной оправой о камень и откатилось. Мара смотрела, не нагибаясь. Рука, всю жизнь державшая верный наклон, разжалась прежде, чем она поняла отчего.

Она увидела все свои прошения разом: годы покорнейших нижайших, выведенных по линейке, проглоченных этой трубой и вернувшихся отписками. Мара хорошо делала одно дело — учила беспёрых просить. Брала живую, корявую беду — «я ж не брала», «сети сгнили при батке» — и переписывала её набело тем складом и той буквой, какие придумал для себя тот, к кому беда шла на поклон.

Мара подняла перо и обтёрла о передник.

Надо не просить.

Первым пришло не «бунт», не «сила» и не «отнять» — для них у Мары не было ни рук, ни веры. Пришло ремесленное: писать. Не набело чужую строку, а свою — для вдовы, мальчишки при трубе и всех, кому оставалось одно «за что». Такую строку, которая войдёт в Свод не милостью сверху, а правом. Тогда надломленное перо поведёт прямо.

Мальчишка дёрнул бечеву — отозвалась прежняя унылая нота. Сверху по трубе с таким же всхлипом, каким ушло прошение, пошла капсула. Он вскочил, привычно поймал её в лоток одной рукой, шевельнул губами над оттиском, разобрал квартал и проулок, сунул за пазуху и зашлёпал босыми пятками по обсыхающей грязи. Брошенная бечева ещё дрожала без хозяина.

Мара дождалась, пока нота сойдёт на нет, достала из кармана тёртый, ещё тёплый вдовый грошик и зажала в кулаке. Пальцы не разжимались, будто вместе с монетой держали всё её прежнее ремесло.

У поворота её окликнул Кавр. Он сидел без просителя и разминал пальцы — отписался на утро.

— Что, Верл, сегодня бледна? Или глотка обидела? — масляная участливость смазывала каждое слово. — Ты к ней близко не ходи. Пиши да отдавай, а носить пускай сами носят. Грошик тебе заплачен — ты отработала. Дальше бумага не твоя строка.

— Не моя, — сказала Мара.

— Вот и я о том. — Кавр откинулся, довольный. — Одно ремесло держим: ты пером, я словом. Доброе, тихое. Пришёл человек с бедой, ушёл с бумагой. Есть бумага — значит, дело движется. А движется ли, знать ему ни к чему. Незнание греет. Мы тепло продаём, Верл, дешёвое тепло за грошик. Где ещё возьмут?

Мара поглядела на гладкое лицо, на мягкие, белые для дна руки, не знавшие багра и весла. Кавр сказал правду: то же перо, тот же грошик, тот же облегчённый и обманутый человек. На миг он стал похож на отражение в воде — только буквы у них ложились разным почерком. Правда легла под рёбра спадной водой. Мара почти кивнула.

— Тепло, — сказала она. — Пока дом не сгорел.

— Это ты к чему? — не понял Кавр, и масло в его голосе на миг застыло.

— Ни к чему, — сказала Мара. — К слову пришлось.

Она ушла, не дав ему доплести. Кавр решил, что Верл не в духе; тем лучше — молчаливый писец очереди не сманит.

Мара вернулась к ящику из-под соли. Капель отсчитывала позднее утро, а у стола ждала новая корявая, живая беда — переписать набело.

Старик стоял боком, как стоят те, кто хочет заговорить и не решается, мял шапку с завязанным в ней грошиком. Мара села, подложила щепку под качнувшийся на неровном камне ящик, придвинула лист. Обмакнула надломленное перо, обтёрла лишнее о край пузырька и прижала пальцами костяную линейку.

Впервые за все годы рука не поверила линейке и дрогнула над рыхлой бумагой, как над тёмной водой.

— Рассказывай, — сказала Мара. — С чего тебе беда?

— Да с соседа, — начал старик, мня шапку. — Сосед мой, как вода сошла, сваю мою за свою посчитал...

— Не части, — сказала Мара. — По порядку. Соседа как звать?

— Дёгтем зовут. А по дворовой строке — не знаю. Я и свою-то строку не помню, где стоит.

— Найдём, — сказала Мара. — На спаде свайные строки выходят наружу, по метке сыщем. У тебя метка на свае есть?

— Была, — сказал старик неуверенно. — Отец зарубку клал. Косую. А сосед, вишь, поверх моей косой свою прямую затесал, будто это его свая, и зарубку мою заровнял. Свежим тёсом. Я гляжу — а тёс-то свежий, белый, ещё не обсохший. Как же он давний, если белый?

Мара подалась к старику через ящик; голос её сел ниже. Свежий белый тёс можно показать, потрогать, привести свидетеля, видевшего сваю прошлым спадом. Здесь было на что опереться.

— Свежий тёс — это хорошо, — сказала Мара, и старик удивился. — Белое дерево само себя выдаёт: давнее серо, свежее бело. Запомни место и не дай соседу добить метку, пока я не выправлю бумагу. Найди человека — водолива, соседа, кого угодно, — кто прошлым спадом видел твою косую. Найдёшь?

— Найду, — сказал старик и выпрямился.

Мара стала писать по линейке, их складом и буквой: иначе глотка не примет, а старику сейчас было до своей сваи, не до Свода. Пока приходилось кланяться ради него. Перо цепляло, давало волос, снова цепляло. Мара приподнимала кисть на слабом месте, обманывала надлом и тянула строку ровно.

Глава вторая. Корка у Хеммарских ворот

У Хеммарских ворот воздух от мороза казался ломким, готовым треснуть на сгибе. Мара дышала в варежку, и дыхание возвращалось инеем на ресницах, точно между нею и миром поставили тонкое стекло: всех видно, никого не коснуться. От воротной щели вниз по утоптанному снегу тянулась очередь родни — долгая строка из узлов платков и зачоченелых рук.

Читали по списку.

Конвойный стоял в воротной нише со списком на доске, привязанной шнуром к поясу, чтобы ветер не отнял. Водил сверху вниз пальцем — из рукавицы торчал синий ноготь, — и где палец останавливался, там человека пускали к сидельцу либо заворачивали до весны. По записи пускали, безбумажных гнали, а их было больше всего. Имя узника держалось у них на памяти, на «он мне брат, вот те крест», но креста в списке не было.

Дарн стоял чуть впереди, в очереди и не в очереди: вызволять ему было некого, он пришёл смотреть, считать и держать увиденное в памяти. Мара узнала его по спине. Обожжённый берёг стянутую кожу, подавал одно плечо вперёд. Мороз он чувствовал лицом прежде, чем тот проступал в воздухе, и время от времени поворачивал к ветру больную щёку, будто сверялся с нею.

Из снега медленно проступила слепая старуха, будто водяной знак на бумаге: сперва пустая рука, потом платок и лицо. Бельма в глазницах застыли белёсыми лужицами; ладонь она тянула туда, где по теплу и говору угадывала живое. Не за милостыней — пришла к своему сидельцу, как вся очередь родни, только без бумаги и поводыря. Добиралась на голос и память, а не по записи. Мара прочла её сразу: имя у старухи есть, строки нет, а на месте записи стоит мороз.

Конвойный на неё не глянул. Палец шёл по доске, рот выкликал записанных; глаз скользнул мимо старухи, как мимо пометки на полях, не вошедшей в строку.

Дарн качнулся к ней, молча полез за пазуху, где бедный греет телом свою дневную долю, и достал корку. Хлеб успел стать тёплым и не закаменел на морозе. Дарн вложил его в протянутую ладонь, бережно загнул поверх мёртвые от стужи пальцы, чтобы корку не выронили. Старуха не поблагодарила сразу: сперва ощупала её всей рукой, проверяя, хлеб ли это и не обманул ли мороз, и лишь потом зашевелила губами.

Тогда Мара вышла из очереди.

Она всегда носила с собой потёртую тетрадь выписок из Свода, переписанных собственной рукой и надломленным пером. Не весь Свод, конечно, — книжищу держали прикованной в палатах, — только нужные статьи. Костяная линейка служила закладкой. Мара знала тетрадь не по главам, а по положению строк, по тому, куда клонился истёртый край листа. Озябшими пальцами открыла нужную статью — как находят под снегом знакомую тропу.

— Служивый, — сказала она ровным писарским голосом, без просительного наклона. — Тут у тебя по немощным особю. Сверь статью.

Конвойный поднял на неё глаз — тяжёлый, недобрый, глаз человека, которого отрывают от привычной борозды.

— По списку пускаю.

— По списку, — согласилась Мара и повернула тетрадь, подведя костяную линейку под строку. — А по этой статье немощного и увечного, кто сам имени вписать не может, пускают без записи, по слову караульного, под его руку. Двором писано, не мной.

Она не повысила голоса — лишь положила строку между ним и старухой, как доску через полынью.

Конвойный читал медленно, шевеля губами; палец с синим ногтем, весь день ходивший по списку, пополз теперь по её строке. Единожды показанную букву уже не развидишь. Дочи-

тав, он вернулся к началу, проверил одно слово, помолчал, поискал щель для привычного «не велено», но статья легла плотно, без оговорки. Тогда конвойный сделал то, что делает уставший человек, когда устав оказался на стороне просителя: махнул рукавицей.

— Под мою руку. Веди свою немощную.

Мара взяла старуху за рукав и подвела к щели; дальше её повели караульные. Бельма так и не узнали, кто открыл проход и почему. Старуха шла на тепло и голоса, прижимая корку к груди, и хлеб со строкой были для неё одним, неразделимым чудом.

Мара не торжествовала. Ворота разомкнула строка, которую она сумела вовремя найти; рука запомнила это.

— Складно, — сказал Дарн.

Он стоял ближе, чем она думала. В голосе не было насмешки, но не было и той похвалы, которой Мара не позволяла себе ждать и всё же ждала.

— Складно провела. Коркой я накормил одну, ты буквой — одну. А прошлым спадом дитё утоплю, неписанное. Строки нет — по-ихнему, и тонуть было некому, спросу ни с кого. — Дарн повёл подбородком за ворота, в стылую муть над каторгой. — Там тысяча. И список им писали тем же пером, что твою статью про немощных.

Мара подобралась. От его слов поднялся другой холод, внутренний: они легли слишком близко к её собственной, ещё не расправленной мысли.

— Той же рукой можно расписать обратно. Строку, которая заперла, другой строкой отпереть. Пером связали — им же развяжешь, надо только знать, где узел.

— Узел, — повторил он и косо усмехнулся стянутой щекой; усмешка вышла горькая, без злости. — Один развяжешь — два навяжут. Пока ты строку читаешь, они десять пишут. Бумага их, перо их, и ты их же пером против них. — Он искал сравнение не в книгах, а в знакомой руке. — Воду таскаешь дворовым решето. Дырки-то они сверлили.

— А ты решето ломаешь? Тогда и капли не поднести. Перо не у породы само по себе — оно у того, кто пишет. Дай его мне, и я напишу иначе. Его надо перенять, Дарн, не ломать. Не порохом брать ворота, а строкой, после которой они сами отворятся.

— Изнутри и гниль точит, — сказал он уже без спора. Потом посмотрел туда, где за щелью исчезла старуха с его коркой. Мара проследила взгляд. За воротами снова скрипнуло железо; оба обернулись.

Они не dospорили. На таком морозе губы быстро дубели, а очередь не давала словам встать в полный рост: скрипели ворота, конвойный выкликал имена, кого-то пускали, кого-то гнали, кто-то всхлипывал в платок. Дарн повернул щеку к ветру, прислушался к своей боли и сказал, что ему пора: у него своё дно, свои дамбы и счёт недоданного. Когда он уже отворачивался, то коротко и тяжело тронул Мару за голое запястье, там, где кончалась варежка. Кожа успела остыть; его ладонь была горячее воздуха. Не пожал руку и не скрепил уговор — лишь оставил тепло, ещё хранившее корку.

И ушёл в стылую муть.

Мара осталась стоять, пока Дарнова спина не растворилась в стылой мути. Под варежкой быстро стыл отпечаток ладони, но внутри ещё держался. Она была писарем и всякое пережитое старалась перевести в письмо, всякому условию найти оговорку и следствие. Этому теплу строки не находилось: оно не уложилось ни в статью, ни в расписку, осталось вне её тетради, как старуха ещё недавно оставалась вне списка.

Другой варежкой она накрыла запястье, будто удерживала лист от ветра, и постояла так. Потом спрятала тетрадь за пазуху, к телу, вложила линейку между страниц и пошла от ворот, унося то, чего не умела прочесть.

Она шла вниз вдоль утоптанной строки очереди, мимо безбумажных, которых пока не умела вписать всех. Каждого читала — по узлу платка, по руке, по тому, как человек берёт имя родича. Запястье ныло.

Глава третья. Обожжённое лицо

Обожжённое лицо к воде болело. И в ту ночь, ещё до крика, лицо сказало ему: вода идёт.

Спадающая вода не приходит — уходит. Разливную ждут, у неё в каждом дворе своё имя: поднимают пожитки под крышу, увязывают сухое, переносят малых на верхний настил. Её боятся честно, в лицо, как зверя, который идёт прямо. Спадающая же уходит без объявления и, уходя, рвёт из-под ног опору в тот час, когда низ просох и люди впервые за неделю спят крепко.

Дарн Ворн знал воду обожжённой скулой раньше глаз: кожа на правой щеке стягивалась и зудела, помня то, чего сам он не помнил. Накануне он, как всегда перед спадом, обошёл артель от края до края, тронул знакомые слабые сваи, послушал воду под досками. Она стояла лживо тихо. У третьей сваи от края обмотка держалась на честном слове; Дарн подёргал её и решил, что к утру не удержит. В Айрином углу горела последняя лучина. Айра сидела на пороге, игла ходила мелко, а на плече серой рубашонки росла светлая заплата. Двое старших спали валетом, младший тянул нитку у её ноги.

— Шьёшь, — сказал Дарн.

— Шью, — сказала Айра, не подняв головы. — Прорвало рукав. Об свайку — лазает он, мал ещё.

— Мала рубашонка, — сказал Дарн. — На вырост бы.

— На вырост — это сукно надо, — сказала Айра. — А сукно — это принос. А приноса нет. — Она откусила нитку. — Латаю, что есть.

Он посмотрел, как она откусила нитку и снова взялась за иглу, потом ушёл к своему жжёному месту у стены. Лёг больной щекой к доскам, а перед глазами осталась светлая заплата на сером плече — наспех, неровным швом. Он запомнил её против воли.

Долговую дамбу у нижней топи Крам Валь держал плетнём и мёрзлой насыпью. Осенью он согнал туда всех должных, и те таскали землю в коробах. Комья смерзались ноздреватой грудой со льдом внутри; весной лёд вытаивал, оставляя пустоты. Каждый спад вода искала в этой насыпи, где ниже, и находила. В этот раз нашла под утро.

Прорвало долгим сытым вздохом, будто топь выдохнула всё, что держала зиму. Когда настил под артелью качнуло, Дарн уже стоял. Спал он у дальнего края, лицом к стене: здоровой щекой ловил тепло соседних тел, больную, не чувствовавшую тепла, отдавал доскам. Всех обожжённых клали туда, на «жжёное» место. Охотников до него не было.

Сведённые ноской кисти сами легли на жердь у входа. Годами Дарн таскал короба и держал эту жердь, пока пальцы не загнулись внутрь, птичьей лапой. Он не искал орудия в темноте: рука знала, где оно стоит.

— Дамбу рвёт, — сказал он в темноту, не повышая голоса. Крик тут не работал: будил страх и суматоху, а суматоха топила вернее воды. Работало слово, сказанное так, будто его уже исполнили. — Вставайте. Воду к плотам пустит.

В темноте заворочались. Кто-то застонал: опять, снова в стылую воду. Другой уже шарил по доскам в поисках обмотки; под поднявшимся телом скрипнул настил.

— Слышишь, Ворн, — сказал из угла надтреснутый голос старого Хвороста, — а может, само уймётся? Может, плетень ещё держит?

— Не держит, — сказал Дарн. — Я воду слышу. Она к нам идёт. Вставай, Хворост, не то она тебя самого поднимет.

— Позавчера ведь унялось, — гнул своё Хворост, кряхтя, нашаривая лапти. — Шумнуло — и стихло. Я вышел — а там всего по щиколотку.

— Позавчера была разливная на спаде, — сказал Дарн. — Она в русло садилась. А сейчас спад чистый. Сейчас не садится. Сейчас рвёт. Вставай.

Хворост всё-таки встал, кряхтя и напаривая лапти. Дарн называл воду по имени, какая она есть; старик умел только догадываться и потому сдался знанию.

Заёмные, должные, выжатые поднимались в сонной покорности: не выйдешь латать — припишут пеню за простой, и пеня ляжет в тот же реестр, который держит тебя. Они шли чинить хозяйскую дамбу, отводившую воду от Валевого торфа к их детям. Дарн стоял у входа с жердью и считал вставших. Хворост — кряхтя. Колм. Первой из баб поднялась высокая, костлявая Айра, с лицом, на котором голод выел всё лишнее. Где вода, там её дети; она не разбирала, спасать или гореть.

— Малых-то снесла? — окликнул он Айру в темноте.

— Снесла, — отозвалась Айра уже от выхода. — На верхний. Всех троих сволокла, спят.

Дарн поверил: своих баба считает в темноте телом, не глазом. Айра наспех хватала с настила тёплые сонные комки и схватила троих, но младшего не довязала к себе. По дороге он сполз, а она уже бежала к воде с мешком в руках, и считать стало некогда.

До зари топь освещала сама вода — тусклая, оловянная на чёрном поле. В этом свете Дарн увидел прореху: плетень разошёлся на сажень, сквозь разрыв хлестала торфяная жижа, унося насыпь и мостки. Ниже, у самых плотов, качалось что-то мелкое, сперва принятое им за корягу.

Заёмные стояли в жиже — кто по колено, кто по грудь — и передавали мешки с песком. Цепь была кривая, рваная; оскальзывающегося сосед держал не глядя, потому что глядеть было некогда. Колм, выслужившийся из своих старшой с мятым серым лицом, остался на сухих мостках и считал мешки вслух, тыча коротким пальцем в воздух.

— Сорок два... сорок три... — И, не сбиваясь со счёта: — Шевелись, дохлые! Сорок четыре...

По счёту уже выходило, что донесли меньше, чем взяли. Мешки рвались в руках, песок уходил в воду, но в Колмовой ведомости превращался в недонос, за который кого-нибудь спишут.

— Колм, — сказал кто-то из цепи, — мешки рвутся, гнильё, не мешки.

— А ты их зубами держи, — сказал Колм. — Сорок пять. — И тише, в воротник, никому: — Меня самого по этому счёту пишут. Недонесёте — с меня же и снимут. — И опять в голос: — Сорок шесть. Шевелись.

Песок брали из старого Валевого отвала, мёрзлого сверху и рыхлого внутри. Двое долбили его кайлом и сыпали совками в старые рогожи из-под торфа, гнилые и расползавшиеся по швам. Жмыхов малец, лет десяти, заёмный с пелёнок, ловко вязал горловины озябшими пальцами. Через одну рогожа всё равно лопалась посередине, не у бечевы. Малец это видел и вязал дальше: ему велели вязать, а не думать про шов.

Дарн полез в воду. Холод взял его за колени, пах, живот — буднично, без злобы. Вода никого не ненавидела, она равняла. По грудь в жиже дыхание сбилось на короткие толчки. Он встал в цепь, принял мокрый мешок, от тяжести вытянувший руки в плечах, и передал. Второй. На третьем понял: мелкое у плотов — не коряга.

Он ничего не сказал. Говорить тут было нечего.

Он отжал плечом соседа и встал ближе к плотам, чтобы не позволить себе отвернуться. Тело то прибывало к брёвнам, то относилось. Волна от брошенного мешка гнала его дальше, и Дарн стал бросать в сторону: пусть полежит у бревна, пусть подождёт. Дитя Айры, младшее из трёх. Серую рубашонку со светлой заплатой он узнал сразу. Вчера она лежала на её коленях, игла ходила по плечу. На вырост бы. Не выросло.

Сосед по цепи проследил Дарнов взгляд, увидел тело и отвернул лицо. Резко сунул следующий мешок, чтобы занять ему руки другим.

В спасательную его не вписали бы: для этого требовался принос, а у Айры приноса не было. В книге дети стояли при матери через запятую: «и при ней трое». Когда дойдут руки до

Айрина двора, писарь спокойно исправит на «двое». Не сегодня и не завтра — когда дойдут руки. Куда делся третий, не спросят, потому что отдельной строки у него никогда не было.

Латали до света — мешками, песком, плетнём, телами. Айра стояла в цепи со всеми и ещё не знала, думала: трое детей спят на верхнем настиле, она сама их снесла. Дарн знал, что утром она поднимет холстину и недосчитается, но молчал. Скажи сейчас — Айра ляжет в воду рядом с дитём, а дыру держать станет некому.

Один раз насыпь поддалась там, где ещё не вошёл кол. Жижа ударила в дыру, человека повело по горло; сосед выдернул его за шиворот, оба повисли на плетне. Колм с мостков крикнул: «Держи дыру, мать вашу!» — но в воду не полез, остался на сухом со счётом. Дарн сунул плечо под расходящийся плетень и упёрся ногами. Илистое дно поползло; он перенёс вес, нащупал старую сваю и встал на неё. Справа и слева упёрлись другие спины. Плетень держался, потому что они держали его. Так стояли живой насыпью, пока сзади досыпали песок и вгоняли кол.

Колм коротко и зло бил кол обухом, крикая при каждом ударе. Кол шёл туго. Когда вошёл, старшой разогнулся: «Всё. Держит». Потом, тише, но так, чтобы слышали: «Недонос на восемь мешков. Кто-то ответит».

Вода отступила в русло, оставив на плотях чёрную кайму и запах тины с железом, который Дарн узнавал больной щекой. Заёмные выбирались на настил, парили, как загнанные лошади, садились прямо в грязь, обнимали колени и тряслись. Теперь тело спохватилось, как ему холодно. Никто не считал, все ли вышли. Колм ходил вдоль края, тыкал пальцем в полузатопленные мешки и шевелил губами: недонос, недонос, кто-то ответит.

Хворост сел рядом с Дарном, дыша с присвистом, и долго молчал, грея руки под мышками. Потом сказал:

— А ведь ты прав был. Про воду. Я бы лёг досыпать.

— Лёг бы, — сказал Дарн.

— И смыло бы плоты.

— Смыло бы.

Хворост поглядел туда, где среди сора качалось мелкое, но слабые глаза не разобрали. Хорошо, подумал Дарн, и опять промолчал.

Тогда Дарн встал на сваю — невысоко, на полсажени, ровно настолько, чтобы видеть артель и быть увиденным. С третьего мешка он носил в себе слова и теперь положил жердь под ноги.

— Глядите, — сказал он тихо. Усталую толпу надрывом не возьмёшь: на неё надрывались всю жизнь. — Мы залатали дамбу. Своими спинами заткнули дыру, чтоб вода не шла на хозяйский торф. Чей торф? Чья дамба? Чьим колом нас погнали чинить её спросонья, по пене?

— Дамба эта топит наших. Дитя Айры только что ушло под неё.

Айра подняла голову из грязи. Услышала имя, ещё не беду.

— А мы её держим спинами — по строке, которой не подписывали. Кто из вас её подписывал? Покажи руку.

Никто не показал. Руки у заёмных были заняты: кто грел их под мышками, кто держался за жердь, кто обнимал колени. Но молчали они не поэтому. Поднять руку против строки означало уже не работу, а бунт. Эту статью можно было не читать — каждый носил её в загривке, где тело заранее ждёт удара.

— То-то, — сказал Дарн. — Никто. А держим. Дамбу не строкой латают — латают спиной.

Он помолчал. В толпе кашлянули. На дальнем дворе некстати прокричал петух — в серый час, когда заря ещё не стала зарёй, — и голос его осёкся над водой.

Колм слез с мостков, неторопливо прошёл вдоль настила и остановился поодаль, склонив мятое лицо. Он не прерывал — слушал и шевелил губами, считая теперь слова для доноса.

Дарн видел, как каждое откладывается в особую ведомость, и не убавил, не прибавил. Убавишь — Колм допишет от себя; прибавишь — ему не придётся.

— И строку тоже. — В сером свете больная щека казалась печатью на живом. — Прощением её не меняют: прошение падает в их лоток и к ним же возвращается. Строку меняют, отняв перо у того, кто пишет.

Он сошёл со сваи: ещё слово — и речь стала бы сходкой, а за неё статья тяжелее. Меру Дарн знал с пожара, когда не успел отдёрнуть лицо, но успел отдёрнуть руки. В огне он сосчитал быстро, по-низовому: что отдать, что сберечь. Лицом коробов не таскают, руками таскают. С тех пор цену лица и рук он не путал.

Колм вернулся на сухие мостки, достал из-за пазухи лоскут бересты и костяную тычку для мешков. Царапал медленно, высунув язык: грамоты знал на три буквы и метил больше зарубками. В этих царапинах уже стояли Дарново имя и слова про перо. Береста пойдёт к Валю в сушильню, к большому счёту, а рядом с прежними строками появится новая. Позже — как всякая кара на дне.

Айра пошла к верхнему настилу ещё не торопясь. Дарн видел наперёд: поднимет холстину, пересчитает тёплые тела и недосчитается. Он ступил было следом, но снял ногу с поддавшейся доски. Такой счёт мать ведёт одна; лезть в него — как в воду к утопшему, двоих уже не вынести. Дарн остался стоять с пустыми сведёнными кистями; под мешком им было легче. Наверху стихли шаги. Крика не последовало. Кричат там, где верят, что кто-нибудь придёт. Дарн слушал тишину Айриного счёта, и она давила сильнее крика.

Айра спустилась, не глядя прошла мимо Дарна к воде и остановилась у чёрного следа. Посмотрела туда, где среди плавучего сора качалось мелкое. Он шагнул к ней — сказать или промолчать, сам не знал, — но она заговорила первой тем же ровным голосом, каким накануне говорила про сукно и принос:

— Всех троих взяла. Младшего не довязала.

— Айра, — сказал Дарн.

— Не вписан он. В книге нет, чтобы искать. Кого нет в книге, того и вода не брала. Не было, и нет, и не было. — Она разбирала это для себя, по строке. — Стало быть, горевать не по ком. По запятой не горюют.

Она вернулась на настил и села латать другую рубашонку. Старших осталось двое, а целая рубаха одна; до света надо успеть.

Мара пришла, когда солнце обнажило всё, что ночь держала под собой: чёрную кайму, плавучий сор, вздутые тушки крыс и малое тело, прибитое к свае. Оно качалось у всех на виду, но никто не решался взять. Протянуть руку значило вписать себя в свидетели, а свидетель тоже шёл отдельной статьёй. Над водой поднимался парок, начинался обычный серый рабочий день.

Дарн узнал её по почерку тела раньше, чем по лицу: прямая спина писаря, занос кисти перед первой буквой, лёгкий наклон головы к левому плечу. Мара шла с приказной папкой под мышкой, в чистом выглаженном сером без яркой нитки — так одевались вписанные из бедных, чтобы достаток не приняли за наглость. Руки у неё были без мозолей и без холи, привычные выводить чужую беду по линейке.

Впереди шёл мелкий приказный служка, посланный довести писаря и вернуть обратно, чтобы тот не сгинул на дне и не подобрал там лишнего. Он брезгливо обходил лужи, придерживал полу и поглядывал на заёмных со скукой человека, осматривающего стойло. У черты, дальше которой контора не ходила, сказал Маре в спину:

— Тут переписывай. Дальше не смей. Дальше — не наше, дальше — низ. Перепишешь — позови, отведу.

Служка отошёл и встал поодаль, спиной к воде, лицом к слободе. На то, что качалось у сваи, ему глядеть было незачем; он сберегался общей слепотой.

Мара Верл, прошатница. Когда-то они кормились с одного дна, сидели девчонкой и мальчишкой на одном пороге и делили корку. Она уже тогда выводила палочкой в грязи «аз» и «буки» и терпеливо заставляла его повторять, а он не понимал, к чему это. Оказалось — к тому, что по буквам Мара вышла к лотку и линейке; Дарн остался под тем самым лотком, куда уходили прошения. Старая, тёплая и ненужная приязнь шевельнулась в нём, и он наступил на неё, как на тлеющий уголь, — босой ногой, твёрдо.

— За чем пришла? — спросил он. — За живыми или за утопшими?

— За ведомостью. — Она не отвела глаз от обожжённой скулы, и за это Дарн почти простил ей папку. Целые обычно глядели в сторону, будто их совесть помогала ему носить лицо; Мара читала ожог до конца. — Прислали переписать утопших в спасательную: кого вода взяла сегодня, внести задним числом, будто они там были.

— Будто были, — повторил он. — А не были.

— Не были. Чтобы попасть в ведомость, нужен принос; у них его не было. Теперь велено вписать мёртвыми. Я знаю, как это звучит, Дарн.

— Ты знаешь, как это звучит, — сказал он. — А знаешь, как это есть? Дитя Айры вписывать будешь? Младшее?

Мара открыла папку. В списке, выведенном её безупречным уставом, строки стояли ровно, по линейке. Ни дитяти Айры, ни других утонувших сегодня там ещё не было: она пришла их вписать, а не вычеркнуть.

— А зачем их вписывать-то велено? — спросил он. — Конторе утопший заёмный — убыток. Списывать любят, вписывать не любят. С чего вдруг?

— Наверху затеяли смотр дамбам по всей Вельмаре. Велено показать, что за ними следят, спасательные артели исправны, утопших мало, спасённых много. Вот и набирают мёртвых, разносят по прошлым спадам и вписывают спасёнными. Такой дважды работает на породе: спиной при жизни, числом после смерти.

— Стало быть, — сказал Дарн, — дитя Айры они впишут спасённым.

— Иные впишут спасённым. Я — утопшим. Буквы те же, рука другая.

— Буду, — ответила Мара на прежний вопрос, который всё ещё стоял между ними недоведённой строкой. — Не для них — им уже не помочь. Мне нужна записка. Через сезон, через два подам прошение о дамбе и укажу: по вашей ведомости, столько-то утопших на этом плетне за столько-то спадов. Обращу их число и их перо против них.

— Их пером, — сказал Дарн.

— Их пером.

— Перо их, чернила их, лоток их. Уставщик, который прочтёт твоё прошение, тоже их. Ты красиво подашь, по линейке, а вернётся: «вписано верно, к рассмотрению не подлежит». Мне эту отписку на лице выжгли. — Дарн тронул скулу. — Ты всю жизнь учишь нас красиво просить тех, кто пишет правила под себя. За это я тебя и любил: одна верила, что буквой нас можно выпрямить. Только буква ихняя. Гнётся к ним.

— А твой способ? Отнять перо — у Огрызя, у Валя? На место одного сядет другой, твоей рукой посаженный, и напишет тем же пером те же строки. Будет звать тебя братом, пока не впишет должным. Весь низ болеет этим «отнять». Только кто отнял, тот и пишет — не лучше прежнего, потому что кресло и строка остались.

— Был у нас один, ещё при мне. Сбил дворовых, поставил над приказчиком своего. Через полгода того своего нашли в топи лицом вниз: те же люди и утопили. Он сел на них тяжелее приказчика. Тот гнул по уставу, а свой — по-свойски, без меры. Без устава тяжелее.

— Вот, — сказала Мара. — Вот про что я.

— Не про то. Тот взял перо, а строку оставил прежнюю. Не своего надо сажать над людьми. Надо переписать так, чтобы над ними никого не было. Тогда и перо само сломается за ненадобностью.

— Кто перепишет? Опять чья-то рука. Всё к ней сходится, Дарн. Нет строки без руки.

Дарн не ответил. Здесь их спор всякий раз упирался в руку: строка без неё не появлялась, а рука, взявшая перо, уже становилась верхом.

— Айру жалко, — сказала вдруг Мара, тихо, не для спора.

— Айру жалко, — сказал Дарн.

— Покажи, где она, — сказала Мара, спрашивая про мать.

Дарн не показал рукой — лишь глянул к настилу, где Айра латала рубашонку для одного из двух оставшихся. Мара долго смотрела туда, затем отвела глаза: не от стыда, а чтобы не вписать Айру в свидетели взглядом. Служка стоял спиной, но мог обернуться и приметить, кого выделил писарь.

— Мать знаю: Айра, заёмная, двор семнадцатый по нижней топи, и при ней трое. Стало двое. — Мара достала казённый спасательный лист. — У дитяти имени нет. Не вписан — не дано.

— Дай, — сказал Дарн.

Мара на него поглядела.

— Дай ему имя, — сказал Дарн. — Ты можешь. Ты вписываешь — ты и даёшь. Кому ж ещё.

Мара присела у края настила, достала лист и отвинтила двумя пальцами дорожную медную чернильницу на засаленном шнурке. Казённые чернила пахнули кисло и железно, с прелью орешка, — на дне этот запах знали по отпискам. Дарн решил, что она пишет в спасательную, задним числом, как велено. Но перо пошло без линейки: Мара согнулась низко, буквы заваливались и налезали друг на друга, совсем не похожие на уставный строй. Заглянув через плечо обожжённой стороной, он прочёл свои слова: «дамбу не строкой латают — латают спиной». Мара не слышала речи на свае; дно донесло её быстрее воды, из уст в уста, и по дороге она подняла обронённое слово.

Она подула на строку и спрятала лист не в папку, а за пазуху — отдельно от казённого.

— Это куда? — спросил он.

— Это себе, — сказала Мара. — Это не им.

Мара вынула другой, казённый спасательный лист и положила на колено. Рука переменялась у Дарна на глазах: только что торопилась и заваливалась, теперь встала ровно. Костяная линейка легла под буквы, каждая заняла своё место. В первой строке складывалось имя, которого у дитяти прежде не было.

— Све-ток, — по слогам прочёл Дарн, складывая буквы губами. Имя, выговоренное вслух, ударило тяжелее мокрого мешка: то, что качалось у сваи серой запятой, теперь звалось — звалось светом — и получило человеческий вес. — Светок.

— Светок. Не было имени — будет. Отрок, спасён со спада. — Мара довела число спада и двор семнадцатый.

— Спасён? — сказал Дарн. — Утоп же.

— Спасён. Хотела вписать утопшим и подать прошение — ты слышал. Но ты прав: оно вернётся с печатью «к рассмотрению не подлежит». Значит, без прошения. По смотру велено густо писать спасённых — я и впишу густо. — Она довела строку и число спада. — Спасённый в книге живой, а живого выкликают по дворам на всякой поверке: где такой, отзовись. Светок не отзовётся. Смотрщик упрётся в строку и не сведёт счёта: отрок есть, двор есть, тела нет. Вот тебе их перо, Дарн. Не я сломаю счёт — Светок ломает. Изнутри.

— Ты эту строку, — сказал он медленно, — нарочно ставишь, чтоб сбила?

— Я тридцать лет пишу. Знаю, какая буква где сидит и какую не сведут. Вас учу просить, потому что за иное вас в воду. Сама не прошу. Сама ставлю.

Увидев, что писарь идёт к самой воде, к тому, что качалось у сваи, служка дёрнулся, шагнул и открыл рот — окликнуть, остеречь, отвести. Мара не обернулась и сказала казённым голосом, которому он не смел перечить:

— По смотру велено всех. И этого. Стой, где стоишь.

Слова «по смотру велено» пришли с такого верха, куда служка не перечил. Он остался на месте и снова отвернулся лицом к слободе. Мара дошла до края, присела над телом. Строка уже стояла первой, с именем; осталось свести написанное с увиденным, как доводят всякую перепись: рукой по бумаге, глазами по воде.

Вода качнула тело ещё раз и понесла к дальнему рукаву, в Студёный залив. Там она равняла вписанных и безбумажных одним способом — искала, где ниже. Обожжённая скула Дарна ныла к перемене погоды. Он стоял в чёрном следе уходящей воды и копил в себе не месть — мести навидался, она была мелка, как Колмов счёт мешков. Копил большее, ещё без названия. Дарн тронул лицо, где старый счёт был оплачен вперёд, и промолчал.

Глава четвёртая. Свет в сушильне

Свет сочился в сушильню сквозь щель между досками — серый, низкий, такой же, как во времена, когда здесь сушили торф. С тех пор хозяина свели за недоимку, дверь заперли, кровлю не чинили; доски рассохлись, разошлись, и между ними стояла узкая полоса неба. По ней не двигались ни птица, ни дым. Старый торф вьелся в дерево за годы сушки и не выветрился; снизу пахло сырой сваей и гнилью от чёрной воды, а поверх тянуло холодным рассолом дальнего рукава Ирмы.

Мара Верл пришла заранее, как всегда: всякое дело начиналось с того, чтобы явиться первой и осмотреть место. Она обошла сушильню по краю, ступая по уложенным внахлёт доскам, которые гуляли под ногой, проверила сваи у дальней стены, где ближе стояла вода. Приметила две щели для отхода. У собрания, где читают запретное, один вход бывает для тех, кого ждут, второй — для незваных. Котомку положила на сухой брикет, обтёрла руки и стала ждать.

Свою сальную свечу в жестяном подсвечнике Мара поставила на длинный рычаг перевёрнутого отжимного станка, так что огонёк дрожал над лицами. Этой же свечой она дома грелась над прошениями. Дешёвое топлёное сало коптило и пахло кухней, жиром, домом — единственным теплом в выстуженной сушильне. Мара поправила фитиль ногтем, вытерла палец о тряпицу. Огонёк выпрямился; тени по стенам качнулись и замерли.

Лиц собралось десятка полтора. Заёмные входили по одному через разные щели, будто не сговаривались, а просто стекались в одну низину. Кто садился на серые, ссохшиеся брикеты, лежавшие здесь со времён закрытия, кто приваливался к свае. Каждый вносил с воды клуб холодного тумана, и тот стлался по полу, не сразу тая. Мара считала пришедших не по головам, а по известным ей строкам: имена она знала не у всех, зато причины долга помнила.

Рябой у входа тронул берестяную бирку с долговым клеймом — не глядя, как языком трогают больной зуб: на месте ли. Он отработывал за деда, бравшего на семена в голодный год; долг шёл третье колено, самого деда рябой не помнил, того хлеба не видел. Женщина с грудным, прежде чем сесть, переложив младенца с руки на руку и подоткнула тряпье под подбородок. Ребёнок спал, внесённый в долговой реестр раньше, чем в приходскую книгу, должный прежде, чем крещённый; мать кутала его так, будто могла заслонить от строки телом. Старик у сваи постоял, держась за дерево, и опустился на брикет медленно, в два приёма. Он грел руки под мышками и сухо кашлял в кулак. Его пеня росла быстрее, чем он успевал закрывать её, так что после каждого года долга становилось больше. Мара знала все три строки и видела, как каждая ест человека по-своему.

Последним вошёл человек, которого Мара не ждала, — пришлый с реки, не из заёмных, в смолёной куртке плотогона, с илом на голенищах. Он остался у самого входа, привалился к косяку и сложил руки на груди; садиться не стал.

— Ты по чьему слову? — спросила Мара, не повышая голоса, но и не пряча, что спрашивает.

— По своему. Говорили, тут заёмных грамоте учат. Я свободный, плот гоняю, но брат в Хеммаре по долговой. Хочу знать, какой строкой его свели. Кто строку знает, тот и говорить будет.

— Садись, — сказала Мара. — Строку покажу. Только сначала скажи: сам ты грамотен?

— По складам, — сказал плотогон. — Имя своё вывожу. И цифирь читаю: по реке без цифири нельзя — глубину считать.

— Цифирь — половина дела. Долговое держится на сроке и росте. Садись к свету: у тебя срок горит.

Плотогон сел у сваи спиной к стене, лицом к двери. Мара отодвинула свечу на палец, чтобы свет лёг и на него.

На коленях она раскрыла не Свод — тот лежал в Чернильном Дворе, прошнурованный и опечатанный, под чужими руками, — а свою выписку. В ней стояли уложения, которые давили этих людей чаще других: о наследуемом долге, пене, приносе и спасательной ведомости. Мара ночами переписывала их уставным почерком на обороте старых отказов. Рыхлая дешёвая бумага пила чернило, надломленное стальное перо цепляло волокно, через раз давало волос, и к утру пальцы становились чёрными. Теперь Мара разгладила страницу. Ворсистая бумага подалась под ладонью, нагретая многими чтениями.

— Грамота — не барское дело, — сказала она ровно, как о деле проверенном. — Барское — прятать её от вас. Буквы у всех одни. Я покажу те, которыми вас держат, чтобы вы знали не только сколько должны — это вам и так твердят, — но и по какой строке. Кто её прочёл, уже не примет чужой счёт за свою вину.

Рябой усмехнулся в темноте. Она услышала, как воздух вышел у него через нос.

— Прочту я строку, — сказал он. — И что? Строка-то остаётся. Потому, что я её прочёл, она с меня сойдёт?

— Не сойдёт. Но перестанешь думать, будто сам её накликал. Половину цепи снимет знание, вторую — прошение.

— Прощением. — Рябой качнул головой. — Подавал дед прошение. И отец подавал. Бумаги те где-то лежат, а долг — вот он, на мне.

— Лежат не там и написаны не так. Прощение писать — тоже грамота. Кривое прочтут, отложат и по своей строке будут правы. Прямое надо либо удовлетворить, либо вернуть отказом. А отказ — уже бумага, на него можно подать выше и потребовать другой строки. Научу писать так, чтобы отвечали. Бумага к бумаге — лестница.

— А вдруг не ответят? — подал голос плотогон от стены. — На реке, когда затор, отписок не пишут. Багром раскидывают и плывут дальше.

— На реке багром. В долговом деле им не размахнёшься: всё держится на написанном. Тем порода сильна — у неё каждый долг записан. Тем же слаба: с неё тоже можно спросить по писаному. Тут своё течение, плотогон, и затор разбирают бумагой.

Старик у сваи закашлялся, прикрыл рот и посмотрел на Мару поверх кулака. Потом качнул головой с усталостью человека, которому всю жизнь показывали чужие лестницы, а он оставался внизу. Такой кивок Мара знала и отвечать на него не стала.

Мара повела пальцем по выписке и стала читать медленно, разбивая казённое слово на слоги, как мёрзлый ком: «На-сле-ду-е-мый. Долг наследуемый. Не ты брал — на тебя пало. После смерти должника долг не гаснет, а переходит наследникам до полного погашения». Она подняла глаза. «Вот, рябой. Ты не брал, и они это знают. Так и написано: пало. Спорить надо не о том, брал ли ты, а о том, по правде ли на тебя пало». Заёмные подались к огню. Женщина с грудным беззвучно повторяла за Марой; младенец спал у неё на руке.

— А спорить с чего начинать? — Из голоса рябого ушла насмешка, осталась нужда. — С каких слов? Я их слов не знаю. Скажу — они меня же словом побьют.

— С даты. — Мара достала из котомки оборотный лист, положила на колено и провела ногтем черту. — День, когда брали. Когда умер должник. Когда долг пал на тебя. Когда начали считать пеню. Четыре дня. Запомни их, как имена детей. Их путают — в путанице растёт долг. Выпрямишь даты, осядет и долг. Что помнишь?

Рябой загнул пальцы. Дед умер позапрошлой осенью, хоронили по льду. Когда брали, не знал ни он, ни отец. А пеню считали, сколько он себя помнил.

— Вот тут и порвём. «Сколько помнишь» — не дата. Не найдут дня, с которого считать, — не вправе считать.

Свеча оплывала. За стеной высоко стояла чёрная вода дальнего рукава и держала сушильню на сваях. Где-то скрипел плот, канат на причальном кольце отвечал ему в лад. С кровли редко и тяжело капало в давно подставленную лохань; каждая капля глухо ставила точку.

За скрипом Мара не сразу заметила человека в дверной щели.

Мара подняла свечу. Свет неровно дотянулся до порога, где стоял невысокий жилистый отработок, весь серый от торфяной пыли, которая не смывалась, а въедалась в кожу. Плечи сведены, кисти полусогнуты, будто держали невидимый рычаг. Таких Мара видела сотни: не внесённых в реестр и потому не стоивших породе ни кормёжки, ни убытка за смерть. «Брикет», — окликнул кто-то из угла, как вещь, лежащую не на месте. Отработок не отозвался; окликнувший сразу потерял к нему интерес.

Плотогон у стены повёл глазом на пришедшего, смерил от торфяной пыли до сорванного ногтя и отвернулся. Ни страха, ни безразличности — лишь речное знание, что иную корягу не выловишь, она пройдёт мимо и канет. Он снова уставился на дверь.

Отработок смотрел исподлобья и чуть мимо, поверх свечи и Мары, в темноту за её спиной. В глазах стояла голая нужда, приведшая его к свету, и безразличность к себе за то, что пришёл. Через порог он не ступал, точно деревянная черта была холодной водой, глубину которой он знал.

Мара знала этот голод по холоду под ложечкой — так жила сама, пока буквы не стали хлебом. Помнила не словами, а сосущей пустотой, ради которой идёшь куда зовут и берёшь что дают. По старой памяти дна она, не раздумывая, достала из котомки серый ломоть, завернутый в тряпицу и припасённый на долгую ночь. Отломила часть и протянула через головы сидящих, через дрожащий огонёк. В лицо ему не глядела, чтобы рука не вышла подачкой сверху и он мог взять хлеб как свой.

— На. Поешь и садись, всем места хватит. Покажу строку, которой безбумажных не вписали. Пустое место в реестре тоже сделано чьей-то рукой, и его можно оспорить.

Он долго смотрел на ломоть неподвижными светлыми глазами, и Мара не могла прочесть, что за ними проходит. На миг ей показалось: дрогнул; сейчас войдёт, сядет на брикеты, станет на одного больше, и она доведёт его до первой буквы, как когда-то довели её. От чьего-то дыхания огонёк качнулся; тень отработка выросла по стене до кровли и опала.

Он сделал один шаг через порог, в круг сального света, и взял хлеб. Полусогнутые пальцы сомкнулись на нём цепко, как на рычаге, который держали с малолетства; в голодном хвате была враждебность к самой подающей руке. Мара отняла ладонь быстрее, чем хотела, словно коснулась холодного железа. Рука отработка оказалась не по росту тяжёлой, в ссадинах, с сорванным чёрным ногтем. Ломоть в ней сразу стал мал, и пальцы закрыли его без остатка.

Он не сел, не поблагодарил и не посмотрел на Мару взглядом принявшего дар. Держал хлеб так, будто отнял своё у врага, который по слабости выпустил добычу. В сухом сером лице Мара увидела короткое, твёрдое презрение — к ней, хлебу, свече, разложенным перед людьми буквам.

Боль пришла на удар позже. В неподвижных глазах Мара узнала себя до букв: на дне всякая протянутая рука кажется ловушкой.

Не сказав ни слова, он повернулся и унёс хлеб в ту же щель, откуда пришёл, — в туман и холод у чёрной воды, как уносят добычу. Тьма сомкнулась за ним без звука. Из проёма потянуло холодом, огонёк лёг набок и выпрямился, когда сквозняк ушёл.

Мара осталась со свечой в одной руке и пустой, всё ещё протянутой ладонью в другой. Опустила её не сразу. Кожу знобило там, где её обдало холодом из щели.

До сих пор она приходила толковать готовые строки: читать, выправлять, оспаривать, оставаясь при чужом писаном. Толковать — ещё не преступать; этим Мара оправдывала каждую ночь в сушильне. Теперь впервые захотела написать строку, которой в Своде не было и

которую ничья рука прежде не клала. Это уже не толкование, а посягательство на право породы держать Перо. Чужие буквы снизу ещё позволяли читать — с побоями, если поймают. За свою строку, написанную поперёк их руки, могли вынуть из числа живых. Мара знала цену; перечислила про себя следствия, как в прощении, и всё же дала зарок.

Из-за пазухи Мара достала огрызок карандаша и у самого края выписки поставила мелкую закорючку — узелок на память, место для строки, которой ещё нет. Грифель неохотно шёл по рыхлой бумаге, цеплялся за ворс; знак вышел бледным, едва видным. Но Мара знала, где он стоит, и это была уже не пометка к чужому.

— Кто это был? — спросила та, что с грудным, не оборачиваясь, всё качая спящего.

— Никто, — сказала Мара и тут же услышала в своём ответе язык породы. — То есть пока без строки. Будет и ему строка.

— Хлеб твой унёс, — сказала женщина, и в голосе её не было ни укора, ни жалости, одна усталая опись того, что есть. — На ночь себе берегла.

— Унёс, — сказала Мара. — Значит, голоднее был.

Женщина не ответила. Качнула ребёнка, поправила на нём тряпье. Грудной завозился, причмокнул и стих.

Плотогон у стены всё это время слушал, не поворачивая головы. Когда Мара умолкла, сказал негромко в сторону двери, будто не ей, а себе:

— Я такого знал на реке. Подобрали парнишку с разбитого плота, накормили, обогрели. Ночью он унёс багор и весло, сбыл за полцены. Не со зла. Кто долго тонул, тот и на берегу всё гребёт, а берега под собой не чувствует.

— Было бы ему куда грести, не держался бы так за весло.

Плотогон пожал плечом и снова уставился на дверь.

Мара вернулась к выписке. Свеча оплыла наполовину, и следовало торопиться, пока вода стоит смирно и плот держит. Палец снова пошёл по уставным буквам, голос окреп. — Пеня за просрочку, — прочла она старику у сваи. — Здесь вся хитрость в счёте дней. Пеню считают со дня выписки, а не со дня самой недоимки. Между ними месяц, иной раз два; за них на тебя начислили впустую. — Старик перестал кашлять и поднял голову, впервые допустив, что его могли сосчитать неправильно. Это была ещё не надежда, а оторопь перед возможной ошибкой в казённом счёте.

— А спасательная ведомость? — Плотогон впервые за вечер подался к свету, и обветренное лицо вышло из тени. — Брата по ней в зачёт повели. Будто спасли с воды по ведомости и он за это спасение должен.

— Самая тёмная строка Свода, — Мара нашла её пальцем и придержала страницу. — Если порода избавила человека от голода, воды или пожара, он ей должен за избавление. Долг вносят в ведомость, и он растёт. Спасли — и в реестр. Брату записали, будто подарили жизнь, а за подаренную жизнь положили отработку до гроба.

Плотогон долго молчал. Желваки у него ходили под скулами.

— Я его сам ловил с плота, своими руками и баграми. Я, сосед и отец. Никакой породы там не было, а по ведомости вышло — она спасла.

— А кто ведомость писал? — спросила Мара.

— Писарь приходской. Трезвый писал, при понятиях.

— Вот и порвём по писарю. — В голосе Мары появилась ровная радость найденной щели. — Если ты ловил при свидетелях, у породы на спасение прав нет. Чужое спасение в ведомость вносить не велено — есть отдельное уложение, я тебе его перепишу. Свидетели живы? Сосед, отец?

— Сосед жив. Отец помер.

— Нужны двое. Кто ещё был на плоту?

— Малая была, Ниса звали, — сказал плотогон, припоминая. — Подросток, на подхвате. Багор подавала.

— Сгодится. Видела — значит, скажет. Двое свидетелей против одной ведомости дают спор, спор даёт бумагу, а бумага идёт выше. — Мара пометила имена тем же бледным огрызком карандаша. — Приходи завтра засветло к прошатне у Гнилого моста. Принеси всё, что есть: бумаги на брата, год спасения и имя соседа. Сложим прошение.

— Приду, — сказал плотогон и встал с корточек. Куртка его скрипнула смолой. — Засветло так засветло.

Заёмные подались к огню. Женщина с грудным снова шевелила губами, повторяя слова; рябой слушал уже без насмешки, локтями упершись в колени; старик загибал четыре пальца, путался и начинал заново. С краю, будто не с заёмными, а при них, сидела, обняв колени, тощая девчонка-подросток — никто не заметил, когда она вошла, — и слушала не мигая. Мара читала, капля падала с кровли в лохань, плот отвечал скрипом.

Когда свеча сошла на ноготь и фитиль стал тонуть в сале, Мара закрыла выписку, обернула тряпицей и сказала, что на сегодня довольно: свет кончился, в темноте грамоте не учат. Заёмные разошлись, как сходились, — по одному, через разные щели, унося в туман по строке, по дате, по четыре дня. Женщина с грудным ушла первой, младенцу было пора к теплу. Рябой задержался у двери, потоптался: — Дед позапрошлой осенью помер. По льду хоронили. Я запомнил. — И вышел. Стариков кашель уже удалялся вдоль воды.

Мара осталась последней, как и пришла первой. Сняла с рычага остывший подсвечник, ногтем соскребла с жести застывшее сало, скатала катыш и убрала в котомку: сало не выбрасывают, его перетопят на новую свечу. Огарок ещё дышал синим. Прикрыв ладонью от сквозняка, Мара донесла его до порога и только там задула. В чёрной сушильне отчётливее проступили скрип плота, капля в лохань и плеск воды у свай.

За стеной, в тумане у чёрной воды дальнего рукава Ирмы, серый человек сидел на сыром камне и малыми кусками ел её хлеб. Отщипывал медленно не потому, что берёг, а потому, что ломоть был мал и его следовало растянуть. На свет из щелей за спиной он не глядел, к голосу, читавшему по складам, не прислушивался. Над сушильной, плотами, спящими и теми, кто не спал, стояло без торжества и жалости молчание воды, которая всегда находила, где ниже.

Глава пятая. Гнилой мост: свидетели

Мара пришла к Гнилому мосту не первой — темнота опередила. Уговорились засветло, но у прошатни каждый был на виду; потому сходились по одному, делая вид, что идут мимо, дождались сумерек и перебрались под настил, подальше от чужого глаза. Последний дневной свет ещё сочился через доски, вода уже стала чёрной. Эту осторожную темноту Мара тоже читала по строкам.

Под настилом сваи стояли по колено в чёрной гнилой воде. Снизу тянуло холодом, сверху сквозь щели — ровными полосами света, будто темень разлиновали для письма. Одна полоса легла поперёк Мариной руки, державшей надломленное перо. Разлиновка могла стать лестницей или решёткой — смотря с какой стороны держать лист.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.